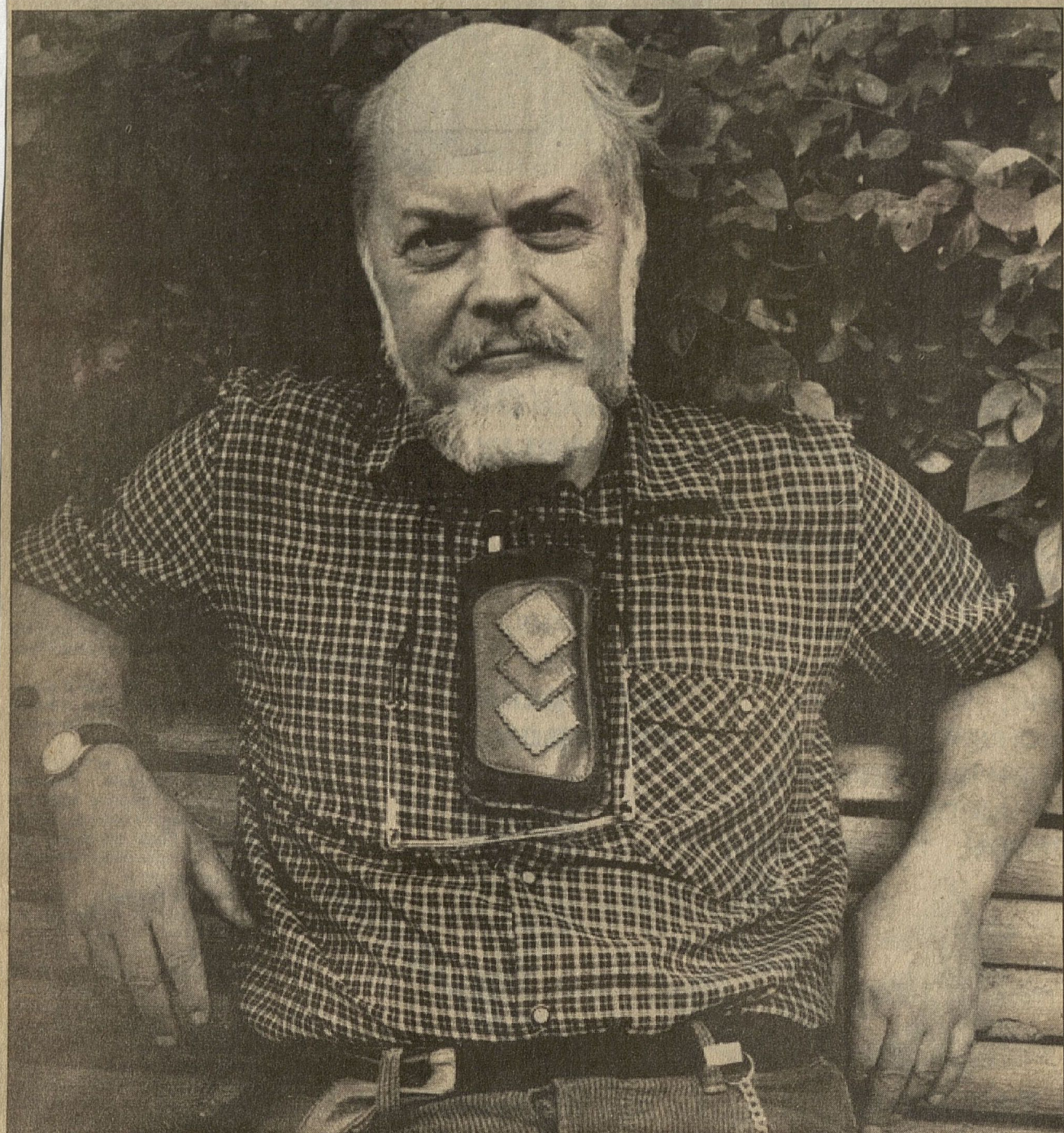




Лев Аннинский: *Веч. вып. - 1997 - Член - с. 7* Как только мы отбиваемся от супостатов, тут же начинается русский разгул

Нет, наверное, в нашей культуре такой области, которая не была бы для Льва Александровича **Аннинского** предметом внимания. Он известен и как выдающийся литературовед — автор множества книг, и как киновед, и как театралный критик, и проч. и проч. В последние годы **Л. А. Аннинский** много занимается историей и, в частности, тем феноменом, что получил название русской идеи. С этого и началась наша беседа.

— Лев Александрович, вопрос такой: какая же у нашего народа должна быть «идея»?

— Я живу в России. И то, что страна начала разваливаться, для меня горе. Я не могу с этим примириться. Естественно, всякий, кому небезразлична судьба своей родины, должен искать пути, как соединить людей. Я не могу примириться с тем, что они теперь смотрят в разные стороны. Мне дороги люди, дороги народы, которые тут были, прошлое моей страны, мое прошлое. Если это называется «русская идея» — пожалуйста. Я отвечаю на этот вопрос так: если мы как страна уже состоялись, значит, отдать этого нельзя, значит, русская идея состоит в том, что Россия есть.

— Но, согласитесь, это не очень конкретно.

— А вы подождите конкретизировать, не спешите. Конечно, заманчиво сразу сказать: ну тогда это идея православная. Оно всегда было, была православная идеология тут же возразят: а мы не входим в эту вашу идею. Нам же нужно удерживать всех тех людей, что привержены нашему сложившемуся образу жизни.

— Национал-патриоты предлагают взять за основу национальность...

— Национальность? — тоже не получится. В этом главный пункт спора моего с национал-радикалами. Я говорю: если вы считаете, что русская идея национальна, то вы Россию не удержите, она будет сыпаться дальше. Кто такой вообще русский? По определению, это человек дружины. Русь — это дружина. Это можно некий прообраз государства. Это государство никогда не было по замыслу национальным. Оно всегда было католическим, всегда было славянским, всегда было славянофильским. Ибо в дружину входили все, кто согласен был служить. Русь стала Русью в результате того, что народы — самые разные народы — согласны были сплотиться на определенном историческом отрезке. Они вынуждены были вырабатывать общий образ жизни.

— В противном случае они были бы перебиты поодиночке или погибли бы в междоусобицах...

— Да, и они выработали имперский образ жизни, заимствованный из Византии, а ею из Рима. И все это в зна-

чительной мере еще и подверглось влиянию Востока. Вот это и есть то, что называется русская идея. Она не национальна изначально. И если ее теперь превращать в национальную, то от России может остаться только узенькая полоска, где живут собственно великороссы.

— А не является ли, по вашему мнению, одной из причин наших бед то, что древнерусский народ в свое время расслоился на две ветви — южную и северную, которые впоследствии стали называться украинцами и русскими-великороссами? Но ведь существует довольно убедительное и хорошо аргументированное мнение, что это и сейчас единый народ. С единым характером. И больше того, у довольно многочисленных украинцев практически нет литературы. А лучшие писатели-украинцы — Гоголь и Короленко — писали по-русски.

— Так! Насчет того, что у них литературы нет, это я с вами сейчас спорить не буду, но я с этим никогда не соглашусь. Потому что был Коцюбинский.

— Но кто в мире знает Коцюбинского?..

— Я знаю! Я вам отвечу так: о том, что они не нация, не вздумайте где-нибудь им сказать. Если они называют себя нацией, то это уже начало нации. Я русских нацией не называю. А если они себя называют — ради бога. Что касается до того, будто русские и украинцы это один характер — отнюдь нет! Это характеры очень разные. Более того, я скажу, я горюю по украинцам еще и потому, что 90 процентов нашего юмора они унесли с собою! Но ладно. Ушли, так ушли. Не будешь же тащить обратно.

— А если появится опасность извне, как по-вашему, вспомнят ли украинцы с белорусами, что они вместе с русскими составляют или составляли триединый народ? Как это было во вторую мировую!

— Это было и во вторую мировую и в Отечественную войну 1812 года. Как только на горизонте появляется, условно говоря, «немец», так тотчас прекращается спор славян между собой, и они сообща начинают отбиваться от супостата. «Немец» — это собирательное понятие. Это все, так сказать, немое, не нашего языка. Это все, что не участвует в наших хитростях, в нашем лукавстве. Мы вообще очень лукавые. А «немец» — серьезен. У Гоголя, помните, во втором томе «Мертвых душ» наши прохиндеи посадили немца. Оклеветали его, подвели, как говорится, под монастырь. Он отсидел, вышел и спросил: зачем вы это сделали? На что они ему от-

ветили: а ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Вот этого «немец» не выносит. Вот этого нашего приблизительного существования. Но как только появляется на горизонте «немец», который нас не выносит, мы обнаруживаем, что все мы едины. Зато как только мы от «немца» отбились — как мы отбились от него в 45-м году и после этого ждали 3-й мировой войны с американцами, которые для нас такие же «немцы», — как только мы ото всех отбились, начинается наш русский разгул. Мы вспоминаем, что все мы очень разные, непохожие, каждый наособицу. Это наш рок.

— Существует мнение, что всякие переломные моменты нашей истории породили великую литературу. Сейчас мы переживаем момент куда как переломный. Но, кажется, нет и самых росточков какой-то грядущей великой литературы. Какое вы прогнозируете ближайшее будущее нашей культуры?

— Росточков еще нет. Но я вам отвечу вот что: великая культура рождается на великих страданиях. Чтобы появился Гомер, нужно было, чтобы угробили в Троянской войне полнаселения. Я бы так сформулировал: не в том дело, даст или не даст нам этот великий слом чего-нибудь взамен. Но если вообще что-нибудь появится, так только потому, что мы это выстрадаем, оплатим это своими страданиями. Если же мы будем такими непробиваемо-счастливыми, какими, впрочем, никогда не будем, то я не уверен, что появится великая культура, которая кого-то чему-то научит.

Теперь насчет росточков. Мы всегда были литературоцентричной культурой. Сейчас же может показаться, будто слово умирает. Вместо него появляется телевизионная картинка, прочая визуальная информация.

— Культура жеста вытесняет культуру слова?

— На самом деле это не более чем иллюзия. Просто слово уходит в другие сферы. Слово — это такой концентрат смысла, который ничем не заменить. Все эти визуальные формы все равно будут осмысляться в словах. Потому что «язык» — это непосредственная действительность мысли. Если языка нет, нет и мысли. Вам приятно от этих пятен, вам приятно от этих запахов, линий, жестов, но вы не понимаете, почему вам приятно. А если вы начинаете что-то осмыслять, то и возникает язык, возникает слово.

— Слово — это еще не литература. Неужели какой-то Интернет или другие технические новшества могут опосредствовать

литературному росту?

— Никто не знает. Во-первых, русские, вроде евреев, — народ книги. Мы уже настолько за тысячелетие сделались искусственными в этих словах, так уж в них исхитряемся, что, я думаю, без слова, без книжного именно слова, не сможем. Слишком уж русская культура внедрена в книгу. Да, был этап, когда Киевская Русь мыслила фресками, красками, иконописью. Но после Феофана Прокоповича мы живем книжным словом. Я думаю, что никуда это не уйдет. Ну а в какой форме?.. Интернет позволяет каждому высказаться. Но он же позволяет каждому и прочесть. Посмотрим... Если кто-то будет высказываться так великомерно, что другие люди не смогут без этого жить, то не все ли равно, как это будет растиражировано?

— Наша сегодняшняя культура во многом порождение культуры шестидесятников. Как вы их оцениваете?

— Я и сам происхожу из шестидесятников. Оцениваю их как великое откровение. Великое откровение мечты, которая чувствует, что она подходит к кризису. Мы упираемся, не хотим с этим примириться. Но кризис неизбежно наступает. Это и есть драма шестидесятников. Последних идеалистов. Наша драма. Мы в коммунизм верили. Верили, как в мечту и как в нечто осуществимое.

— А у вас уже тогда было какое-то предчувствие кризиса? Предчувствие того, что все это плохо кончится?

— Было предчувствие. Но что значит «плохо»? Что ж плохо-го в том, что я могу на каждом углу купить, чего мне нужно, если я заработал? Не стало жить хуже — стало жить смутнее!

— Но Максимов и Зиновьев в конце концов даже повинились за свою борьбу с системой. Они сказали, что если бы знали, чем это кончится, то не раскачивали бы лодку.

— Обязаны были знать! Я это говорил Максиму. На то вы и интеллигенция, чтобы знать! А кто не знал, значит, тот был плохой интеллигент. Хотя бы предчувствовать должны были. Русский бунт страшнее русского деспотизма. Страшнее. Потому что он органичнее. Потому что в бунте русским сказывается наша промежуточная, наша неприкаянная, смятенная душа. А в деспотизме она себя смиряет. Чуждым ошейником. Поэтому русский бунт безудержнее, страшнее и сильнее русского деспотизма и рано или поздно всегда его сламывает. Но не дай Бог попасть на эту интересную эпоху. А впрочем, мы уже «попали».

Встречался
Юрий РЯБИНIN.